



Наталья Рубанова

—•—

АДСКИЕ ШТУЧКИ

Наталья Рубанова

Адские штучки

«Автор»

Рубанова Н.

Адские штучки / Н. Рубанова — «Автор»,

«Да, вы – писатель, писа-атель, да... но печатать мы это сейчас не будем. Вам не хватает объёма света... хотя вы и можете его дать. И ощущение, что все эти рассказы сочинили разные люди, настолько они не похожи... не похожи друг на друга... один на другой... другой на третий... они как бы не совпадают между собой... все из разных мест... надо их перекомпоновать... тепла побольше, ну нельзя же так... и света... объём света добавить!» – «Но это я, я их писала, не “разные люди”! А свет... вы предлагаете плеснуть в текст гуманизма?» – «Да вы и так гуманист. Просто пишете адские штучки».

Содержание

[face как book]	6
[и жили долго и счастливо]	7
[Фира Фелль]	8
[завет коллонтай]	10
[белый]	12
[Простые люди]	14
[идиллия]	19
[прокрустовы ложки]	21
[я жил с ней]	23
[Narry New Year]	25
[разрешите вами восхищаться!]	27
[Ledi Ferrum рук Пушкина]	29
[Снег на даче]	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Наталья Рубанова

«Адские штучки: Бу[ковки] бывшей-райтерши»

Рок-н-ролл мертв, а я еще нет.

БГ

«Да, вы – писатель, писа-атель, да... но печатать мы это сейчас не будем. Вам не хватает объёма света... хотя вы и можете его дать. И ощущение, что все эти рассказы сочинили разные люди, настолько они не похожи... не похожи друг на друга... один на другой... другой на третий... они как бы не совпадают между собой... все из разных мест... надо их перекомпоновать... тепла побольше, ну нельзя же так... и света... объём света добавить!» – «Но это я, я их писала, не “разные люди”! А свет... вы предлагаете плеснуть в текст гуманизма?» – «Да вы и так гуманист. Просто пишете адские штучки».

* * *

[face как book]

Владимиру Набокову нравится свой статус, Вере Слоним нравится статус Владимира Набокова, Валерий Брюсов прокомментировал статус Веры Слоним, Валерий Брюсов прокомментировал свою собственную ссылку, Вера Левченко поделилась мероприятием «Серебряный век», Вере Левченко нравится фотография Владимира Холодного, Вера Холодная поделилась фотографией Асты Нильсен, Аста Нильсен поделилась ссылкой «Немое кино», Мэри Пикфорд поделилась мероприятием «Поллианна», пользователь проекта «Полианна» поделился мероприятием Анны Ахматовой, Анна Ахматова и Фаина Раневская теперь друзья, Федерико Феллини и Де Лоурентис теперь друзья, Федерико Феллини прокомментировал ссылку Де Лоурентиса, Де Лоурентис прокомментировал ссылку Федерико Феллини, Де Лоурентис отметил Джульетту Мазину на фотографии, Джульетта Мазина отметила Федерико Феллини на фотографии, пользователь проекта «Мата Хари» отметил Грету Гарбо на фотографии, Грете Гарбо нравится проект «Поток», Джону Гилберту нравится ссылка Греты Гарбо, Грета Гарбо удалила Джона Гилберта из списка друзей, Глория Свенсон и «Голивуд» теперь друзья, Марлен Дитрих и проект «Femme fatal» теперь друзья, Ингрид Бергман и Роберто Росселини теперь друзья, Ингрид Бергман нравится статус Густава Моландера, Густаву Моландеру нравится статус Ингрид Бергман, пользователь проекта «Оскар» поделился ссылкой «Intermezzo», Иоганнес Брамс поделился ссылкой «Интермеццо», Винченцо Беллини и Джузеппе Пьермарини поделились ссылкой «Ла Скала», Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Порфирий Бородин, Цезарь Кюи, Николай Римский-Корсаков поделились ссылкой «Могучая кучка», «Могучая кучка» прокомментировал свою собственную ссылку, Макс Фриш прокомментировал свою собственную ссылку, Макс Фриш рекомендует страницу «Назову себя Гантенбайн», Назову Себя Гантенбайн хочет добавить вас в друзья.

[и жили долго и счастливо] анекдот

Солдатов жил на Тушинской, Генералова – на Пушкинской. Солдатов перемещался на старой тойоте, Генералова – на новом ситроене. Солдатов пил по утрам черный чай, Генералова – зелёный кофе. Солдатов дожимал вечером сто пятьдесят коньяка, Генералова – две-сти кьянти. У Солдатова жил пёс, у Генераловой – кот. Солдатов промучился со своей «экс» пять лет, Генералова – шесть. Солдатов загорал в Турции, Генералова – на Сейшелах. Солдатов слушал «Серебряный Дождь», Генералова – «Relax.fm». Солдатов читал на ночь Довлатова, Генералова – Бродского. Солдатов одевался в торговых центрах, Генералова – в дизайнерских бутиках. Солдатов пользовался нерегулярно Calvin Klein, Генералова – регулярно – Dior'ом. Солдатов не ел мяса, Генералова – и рыбу. Солдатов играл в шахматы, Генералова – в теннис. Солдатов играл на варгане, Генералова – на губной гармошке. Солдатов уважал Уорхолла, Генералова – Муху. Солдатов заглядывал в «ЧасКор», Генералова – в «Независимую». Солдатов работал с утра до ночи, Генералова не работала. Солдатов фотографировал, Генералова вышивала. Солдатов рассчитывал бюджет, Генералова занималась благотворительностью. Солдатову снилась Козетта, Генераловой – Гаврош. Солдатов обожал набережные, Генералова – портовые города. Солдатов учился в институте, Генералова – в университете. Родители Солдатова жили на одну пенсию, и он помогал им; родители Генераловой жили в Швейцарии и ни в чем не нуждались. Солдатов захаживал в «Дом», Генералова навещала в Большой. Солдатов не верил ни во что, Генералова верила эфемеридам. Солдатов не стряхивал воду с зубной щетки, Генералова – стряхивала. Солдатов не отличал Гайдна от Моцарта, Генералова – отличала. Солдатов хорошо плавал, Генералова побаивалась воды. Солдатов хотел стать летчиком, Генералова – стюардессой. Солдатов в детстве ненавидел пшёнку, Генералова – манку. Солдатов учился на своих ошибках, Генералова – и на чужих. Солдатов носил обувь сорок второго размера, Генералова – тридцать шестого с половинкой. Солдатов не смотрел телевизор лет десять, Генералова – двадцать. Солдатов ненавидел ООО «РПЦ», Генералова в церкви крестилась. Солдатов нередко использовал obscenity, Генералова – редко. Солдатов служил в армии, Генералова не служила. Солдатов ценил свое время, Генералова – свое и чужое. Солдатов летал во сне, Генералова – наяву. Солдатов уже не видел смысла в продолжении рода, Генералова еще видела. Солдатов мечтал о чуде, Генералова – верила: так Солдатов выехал из пункта А, а Генералова – из пункта В. Двигались они в одном направлении: после того, как их взгляды встретились в пункте С, аккуратно у шлагбаума, Солдатов продал свою квартиру на Тушинской, а Генералова свою – на Пушкинской. Они купили домик в экодеревне, где жили долго и счастливо и умерли в один день. Именно тогда упадчерённый Ванюша, высаживая на холмике их ромашки-лютики, подумал о том, какие они были, в сущности, дураки: «Стакан воды в старости!..» – а ведь пить перед смертью ни Солдатову, ни Генераловой не хотелось.

[Фира Фелль] *труба VS забава*

Под новый год менеджер по продажам 219-миллиметровых стальных труб Фира Фелль купила себе трусики с крошечными эйфелевыми башенками да маленький черненький рюкзачок: что, собственно, надо еще для Парижа? Всё остальное, исключая, увы и ах, кавалера (но о том – молчок-на-луну-волчок), – было. И всё б ничего, кабы не скобки эти, да не осложненьице *психического масштаба*. Труба! Электросварная прямошовная, бесшовная горячедеформированная, сварная для магистральных парам-пам-пам – и проч.

Третьего дня Фиру Фелль стошнило прямо на нее – еле успела добежать до клозета, вызвав у сослуживиц подозрение в чадоношении, с коим – на хрупких плечиках, обнявшим их наподобие заскобочного (см. выше) кавалера – и вышла из офиса в половине четвертого вместо положенных восемнадцати полных нуль-нуль.

Время Ч – время представить Париж, в который Фира Фелль хотела всегда, и при первой возможности запускала *в то направление* бумажного евро-Змея: l'amour pour toujours¹, бывает ведь и такое! Змей же, чудом крепясь на тонюсенькой нити, с явным неудовольствием наблюдал за вполне материальной субстанцией, породившей «нереальную» его мыслеформу... Фира Фелль, чего уж там, представлялась ему особою малоинтересной: что с нее взять? «Ах, Париж! Ах, ах...» – она, как и большинство её биосинонимов, мечтала всене-пременно о Елисейских, монмартрском кафе да снежнозубом французику, то и дело подливающем в ее, Фиры Фелль, бокал, то самое «вино любви». Змей же наш предпочел бы, положи хвост на евро, *другую даму*, но – увы! На улице, чай, не Франция – к тому же, Фира-то Фелль предпочла именно его... Именно он, евро-Змей, и стал той самой дыркой от бублика, гордо именующейся в курилке Трубы «мечтой». А запретить Фире Фелль мечтать было решительно невозможно.

Сообщение, разбудившее ее ранним субботним утром, вызвало приступ тошноты: каждой клеткой почти еще нового своего тела *менеджер по работе с vip-трубами* ощущала одну лишь несправедливость: неужто и в выходной не отоспаться? Неужто снова лазить по ГОСТам?.. Неужто? Неужто?.. Ах, ах, кошмарик Одесской улицы! Выключать телефон Фире Фелль не позволялось ни днем ни ночью: если бы Главной Трубе стукнул аккурат в мозг напор той самой жидкости, стучать коей следовало б разве что о стенки знамо чего, она, Фира Фелль, обязана была б строить новёхонький план «девелопмента» аккурат здесь и сейчас... Стоит ли говорить, что в Париж Фира Фелль хотела не столь даже из-за его, парижских, декораций, сколь по причине не больно-то художественной, но в целом вполне понятной! Ах, как мечтала Фира Фелль хоть немного, чу-уточку, замедлить, если уж совсем не остановить, процесс собственного распада! Остановить хотя б на неделю-другую то самое разложение, которое вот уже несколько лет усиливает дым той самой Трубы.

А Змей усмехался. Ёрничал. Вырывался из рук Фиры Фелль. Показывал ей язык. Скалил клычищи. Тщета, да и только! Продолжая мечтать о Париже, Фира Фелль все чаще задавалась вопросом, существует ли тот на самом деле. Чтобы приблизиться к искомой точке на карте, Фира Фелль купила маленькую круглую шляпку с вуалью – ту самую «таблетку», которую, как ей казалось, должны носить «все настоящие парижанки», приобрела черные чулки в сеточку, обзавелась красной, чуть выше колен, узкой юбкой, лаковыми «лодочками» да обложила путеводителями. И еще: Фира Фелль – да-да! – отправилась на курсы сладкоголосого французского... Три раза в неделю с семи до девяти, кто б мог подумать.

¹ «Любовь навеки».

Змей, наблюдая, как крутится она у зеркала, репетируя «выход в свет», сжимался, раз от раза становясь все меньше, пока не стал размером аккурат со спичечную коробку (в такой-то шеф Фиры Фелль и держал траву): коли попадет Фира Фелль в *реальный Париж*, тотчас ему и крышка!.. Мыслеформой одной Змей может являться: обрети мечта Фиры Фелль плоть, тотчас рассыплется.

А Фира Фелль знай настаивает: грибки на ягодках, печальку на смехе: ну и что, ну и что, поду-умаешь! Да, она, Фира Фелль, поднимается в семь, в восемь-двадцать выходит, ну а в девять вздыхает: «Труба!».

...Фира Фелль все хочет и хочет в Париж – хочет на всю катушку, хочет так, что и сказать нельзя: обстоятельства непреодолимой силы-с! Но что есть любовь? Что есть бог? И кто сказал, будто бог есть *любовь*? Кто здесь?..

На самом интересном месте Фира Фелль открывает кошелек и пересчитывает купюры. Нет-нет, – говорит она, – нет-нет, Змей должен подрасти, подрасти-и! Бумажки в кошельке Фиры Фелль превращаются в багеты и вылетают в окно, к птицам. Фьюить! Фьюить! Фира Фелль превращается в фалафель и тает во рту Змея. В трусики с эйфелевыми башенками, болтающимися на белье-вой веревке, дует северо-западный ветер.

[завет коллонтай] кошмартик

Выпить и закусить за Варвардмитну желающих собралось много: выпить и закусить за упокой анимки – ну или что там в двуногом, какой такой червь точеный, – хотелось неимоверно. Тов. Попов, кашляя, произнес то, что и полагалось в подобных случаях: все немедленно выпили – кто водочки, кто наливочки, – да и закусили чем б. послал. Снеди на столе, где еще недавно возлежала мертвой царевной Варвардмитна, которую, за пристрастие к алко-, покойный муж называл *Варя-стакан*, было немерено... да какой! Что там кухня Поля Бокюза для «загадочной русской души»? Тут тебе и гады морские, и птицы небесные: свадьба и свадьба!..

Тов. Попов сентиментально крикнул: «Мы потеряли нашего товарища...» – «Кристалльной души человек...» – «Можно сказать, святая», – повторялись один за другим тов. Жопин, тов. Хмурый и тов. Ангельцев. «Криста-аальной!» – вторила тов. Женщина и качала головой.

Когда же закуски – горячие и холодные, умело сервированные официантами, – подошли к концу, в шкафу что-то *шмякнулось*, открыло *само* дверцу, да и покатилося, подпрыгивая: на все лады паркет цветистый перестучало!

Тов. Попов, приподняв п р е д м е т, заржал и, покрутив им у виска, хмыкнул: «А Дмитна-то!».

Тов. Смирнова кинулась тут же к тов. Попову: «Отдайте, отдайте немедленно! Отдайте мне это.... Как память... память о покойной... Вечная память!».

Тов. Жопин смущенно отвернулся, тов. Хмурый подкрутил ус, тов. Ангельцев поправил гульфик, а тов. Женщина и бровью не повела – подошла к тов. Попову и, дав лёгонько *в дышло*, выхватила у него п р е д м е т да передала тов. Смирновой, аранжируя презент книксеном.

Тов. Смирнова смутилась. Тов. Орлова похлопала ее по плечу и показала глазами на дверь. Тов. Смирнова вышла. Тов. Женщина воспоследовала за ней.

Тов. Попов прислушался. Тов. Жопин также напряг слух. В ухо превратился тов. Ангельцев. Звуки, доносившиеся из-за стены, вводили во смущение.

Тов. Хмурый намотал на ус кончик красной салфетки. Тов. Жопин опрокинул еще рюмочку. Другие товарищи перешли было к беседе, но быстренько *вернулись обратно*: стоны, долетавшие в залу из комнаты, становились всё более громкими.

«Что происходит? – всполошилась тов. Кузина. – Кого там *мучают*?» – то краснея, то бледная, она тщетно пыталась нацепить сморчок на вилочку.

«Да-да, что там происходит?» – загалдели товарищи Какашин, Стельникова, Огурцов, Козлова, Кротов, Гнидин и Почкин.

«Пустьяки, дело житейское!» – махнул пухлой ручкой пролетававший мимо Карлсон.

В тот самый момент на горизонте появилась голова тов. Коллонтай Александры Михайловны, цитировавшей товарищам покойной Варвардмитны саму себя: «Секс возможен только между товарищами по партии. Всякий иной секс аморален!» – оглядев притихших товарищей по партии, она умолкла уже навсегда.

«Так это, значит...» – начал было тов. Попов, но быстро присвистнул: покрасневшие тов. Смирнова и тов. Женщина шли прямо на него, весело размахивая п р е д м е т о м, и, поглядывая на чеширскую улыбочку тов. Коллонтай, смеялись: «А мы? Что МЫ говорили?!»

«А не товарищи ли мы все здесь по партии, господа?» – пискнула тов. Стельникова, мучившаяся фантомным спермотоксикозом. «Волк свинье не товарищ!» – буркнул тов. Хмурый и, поглядывая на ус с намотанной на него красной салфеткой, пялился на жирные ляжки

тов. Стельниковой. Тов. Стельникова потупила взор и раздвинула; тов. Смирова и тов. Женщина, нисколько не стесняясь присутствующих, обсуждали достоинства и недостатки предмета; последних, впрочем, как таковых не было, и посему дамы, увидев в чеширских глазах тов. Коллонтай нечто вроде благословения, пустили искусство в массы – так предмет пошел по рукам.

«Ах, какой хорошенький!» – пискнула снова тов. Стельникова, но заткнулась под испепеляющим взглядом г-на Жопина.

«Ах, ах!» – верещали дамы.

«Ух, ух!» – подкашливали господа.

«Чудо индустриального дизайна!» – не договаривала тов. Коллонтай.

«Ах! Ах!» – всё громче кричали извивающиеся дамы.

«Ух, ух!» – наддавали господа: по лбам катились градины пота.

...

Всё это могло б длиться неведь сколько, кабы стол с объедками не начал расти и, опрокинувшись, не накрыл собой весь честной люд.

«Ах, ах!», «Ух, ух!» – бились тушки товарищей по партии в последней судороге, но никто – кажется, даже сама Александра Михайловна, – их не слышал: во всяком случае, делал вид.

[белый]

Она приходит вся такая воздушная, в длинных сапогах, с куантро.

Она любит воздух, всё такое длинное и куантро, ну да, а ещё – книжечки: она – журналист, критик, что там ещё в этих «узких» бывает? – старо-то как мир, вот *иподнимаю*, вот и *опрокидываю рюмку*, и все – *поднимают и опрокидывают*: пятница, вечер, «я обещал ей пурпур и лилии...», за окном и в зрачках минус тридцать – бежать из белкового карцера некуда, тс-с.

Лина, Лина Нильсон – назовем так, – да, пусть так, вполне себе псевдонимец: под воздух, под куантро, подо всё длинное: аккурат. «А потом, когда мы были в Италии...» – темы для разговоров, о-о, эти темы для разговоров: гондолы и шопинг, виски, выпитые в клозете перед – «Удачного полёта!» – полётом: много чего можно рассказать «о себе», *на себя*ни-сколько не намекнув.

Лина. Лина. Лина улыбается всем, Лину можно было б назвать и *милой*, ан похожая на паука татуировка портит картину: я отворачиваюсь – всё хорошо, но что-то будто б не так; я решаю не думать – я просто смотрю на то, как дают Лине книги и книжечки, книжицы и книжонки – она не отказывается и от книжук: Лина ест всё, «глянцевый форм» ей не так чтоб претит: Лина – *полезный контакт*, Лина обещает рецензии и – «...ах, братцы, уже на донышке!» – щёлкает зажигалкой.

Лина курит, неспешно смакуя мои индийские «бидис»: крепковато, но в целом неплохо... главное, экзотично: почему нет? Там это стоит пять рупий, забавно, что такое пять рупий, ах-ха! Петля разговора, обматываясь вокруг шеи, переходит на вечненькое-с – эМундЖэ – эМундЖэ, а как вы хотели, *мороз* в целом *крепчал*, слова и слоги закуриваются, затягиваются, переходим на «ты»: прерванный оборот, несовершенная каденция, почти по Камю: «привычка жить» суть смехотворна, очевидность не влечёт за собой очевидность.

«Мой экс, – сообщает вдруг Лина (она, как теперь говорят, *глубоко подшофе*, с куантро явно смешалось ещё что-то), – был биологом... ну и заводчиком. Так дома у нас настоящие анаконды водились... – выдыхает дым, разводит руками. – Просыпаешься, а над тобой – они... в аквариуме. Над кроватью, за стеклом, жили... Красавцы» – «И чем кормили?» – из праздного любопытства кто-то уточняет: Лина уточняет тоже.

Кое-кто интересуется, «так ли важно живыми цыплятами и мышами», нельзя ли использовать некий субпродукт: есть же *гуманные альтернативы* etc., но Лина не слышит, выражение лица не меняется – лишь только паук всё увеличивается и увеличивается, того и гляди – вот-вот прыгнет на пол, запляшет и, окутав тончайшей сеткой, высосет её, как ту муху – третьего дня... Лина не замечает, Лина будто б его не боится: «Щеночков на Птичке брали... сама покупала... они, змеи, всех душат сначала», – взгляд блуждает и на секунду туманится.

Одной ли мне к а ж е т с я – не ослышалась? Переспрашиваю: Лина кивает. «Ну а потом – потом-то что?» – переспрашивают другие. – «Потом домой привозила, что-что...» – теревит ворот. «Ты смотрела на то, – *мы*, странно, на *ты*, – как душили?»

Лина тушит «бидис» и направляется в туалет: её рвёт – дверь остаётся открытой.

Разговор провисает.

Облако дыма в подражание классик у натягивает штаны – жмут, упс.

Я понимаю, что из подобного *материала* вышел бы *преотличный рассказ*.

Как можно было бы описать Лину, выходящую – сны-уж-сбываются, – невтерпёж-замуж.

«Мужчины мечты» приходят: случается.

Пусть в масках биологов.

Змеезаводчиков.

Да мало ли!

Как можно было б раскрыть «душевные метания героини», все её «за» и «против», все эти треклятые бесплодные искания и пресловутое о!диночество, все эти чёртовы «смыслы», полные одной пустоты, штурм унд drank, bla-bla... – не забыть про умирающего попугая её, умирающей от рака, френдши... «Да у неё самой онко!» – шепчет мне кто-то на ухо: он знает её лет тысячу, он у!веряет: «Лина, на самом деле, хорошая...».

Ок, продолжаем визуализировать текст.

Вот Лина на Птичке.

Зима.

Допустим, зима: как здесь и сейчас – за окном и в зрачках.

На Лине оранжевая дублёнка и высокие сапоги.

От Лины пахнет куантро и духами.

Лина ходит между рядами, приценивается.

У неё, на самом деле, добрые, очень добрые глаза: каждый хочет отдать щеночка.

«Вы уж его берегите...» – Лина кружит по Птичке долго, Лина принохивается.

Прицеливается.

Стреляет.

Лина представляет, как они будут *смотреть*: у них ведь удобная, нет, правда удобная кровать.

Наверху – анаконды.

«Так рыжий или пятнистый?» – «Белый» – «Ну-ну, кончай разрываться, обед пролаешь! То же мне, Бим... Повезло ж, в добрые руки попался...»

В первый раз, конечно, не по себе.

Принести в дом, раздеться, лечь с ним, гладить его: «биолог» войдёт через миг, и тут-то!

Долгий, мощный, превосходный оргазм. «*Любовь есть смерть, смерть есть любовь* – это цитата или ты сам придумал?»

«Берите, вот этого вот берите! – толстая тётка в фуфайке протягивает Лине тёплый комочек. – Красивый какой! А ла-асковый!..».

Паук проходит сквозь руку Лины и, передвигаясь по венам и артериями, добирается до четырёхкамерного – забавно, я вижу, как меняет оно свой цвет: раковые клетки её любви множатся, раковые клетки её любви – белого, как саван фаты, цвета.

[Простые люди] кошмартик

...вдрабадан явится орать начнет денег требовать а деньги откуда поди на трех работах-то шваброй помахай только б кулаки не распускал скотина чего на аборт не пошла дурында ребеночка ей подавай видите ли вот и подавись на старости лет своим ребеночком жеребеночком козленочком жизни нету да и не было ее никогда жизни чего видела видела-то чего детство считай и то украли мамашка как за отчима вышла так к бабке в деревню засунула зимой в резиновых сапожках бегала кости ломают надо говорят к ревматологу а есть разве время по ревматологам этим сама в восемнадцать выскочила чтоб от бабки-то хуже стало поди-принеси да еще все не так аборт опять же детей не хотел первый помер вторую залечили развод потом-то второй раз вроде как по любви хороший был смирный пил поначалу немного по праздникам потом каждый день а там и печень в дырках господи а денег Чертиле не дашь посуде конец а то и лбом об стенку колошматиться начнет больной больной же васильевское отродье голоса слышит шизофреник сынуля табуреткой на мать это ж надо бугай здоровый корми его сил никаких устала хоть в гроб ложись сколько ж терпеть одного алкаша схоронила другой со свету сживает как вчера на подоконник сволочь встал орет я мать щас выброшусь если денег не дашь я мать щас выброшусь гнида перед соседями не то что неудобно в глаза смотреть не моги цепочку золотую пропил телевизор пропил ковер пропил а больше и нечего холодильник не вынес тяжелый наверное развяжи руки господи хуже ада ты прости коли можешь не умею молиться не умею в церкви-то даже страшно стоять не там ступишь бабки сразу цыкают противные вредные они как ты при себе таких держишь только а я свечку тихонечко вот поставлю да разве дойдет до тебя огонек-то ее вон их сколько поди каждому помощи всей жизни не хватит знаю умом не понять не знаю за что мучаешь так только изводишь за что меня что сделала тебе я мы же все простые люди простые люди-и-и-и...

Лизавета Федоровна, еще секунду назад крепко сжимавшая поручень, вдруг обмякает, безвольно опускает руку и затравленно оглядывается: собственно, как по нотам – да и чего хотела-то? Та же предсказуемость скучных поз, те же унылые сочетания грязно-черного и темно-коричневого, тот же пар из крикливых ротовых отверстий с нелечеными зубами да все та же ее, Лизаветы Федоровны, уязвимость.

Каждый вечер, возвращаясь с работы, она протискивается в неудобную дверь автобуса (маршрутка, не говоря уж о машине, – для неэкономных «белых»), и думает, увертываясь от локтей: вот толкни ее – да что «толкни»! дунь, – и тут же она рассыплется, превратившись из «каменной бабы» в горстку белого песка – того самого, увиденного во сне лет двадцать назад: не достать, не потрогать, не забыть н и к о г д а: и вообще – ничего, нигде, ни с кем, и нечего о том! Не до лирики – неделю как обчистили: аккуратный разрез на сумке, сразу и не заметишь: профи, профи, ловкость рук, достойная восхищения – и не почувствовала ведь, и ухом не повела, мать их...

В милиции долго уговаривали не заводить «дело», предлагая написать «ввиду потери» – Лизавета Федоровна и махнула рукой: все одно – не найдут, все одно – деньги не вернешь, но у кого вот занять, чтоб дотянуть до получки, неизвестно. Хотя, думает она, грех жаловаться: соль есть, и лук в чулке, и полмешка картошки в чулане, чая да сахара немного – с голоду-то поди не опухнут. На карточки только вот... то ли дело с «единым», а теперь вот на поездки треклятые тратиться: государство не проведешь, государство бдит, го-су-дарст-во...

Полуулыбка дамы, покупающей в переходе метро нежные темно-сиреневые ирисы, застаёт Лизавету Федоровну врасплох – она даже останавливается на миг, чтобы рассмотреть получше ее уютное ярко-оранжевое пальто, блестящие, в тон, сапоги на высоченных каблуках да сумку от каких-то там «кутюр»: «Неужели кто-то счастлив? Неужели можно быть счастливым? Можно вот так – просто – покупать цветы и у л ы б а т ь с я?» – а у Лизаветы Федоровны в глазах какая-то рябь, а Лизавете Федоровне мерещится уж ленинградская тетка, утопающая известно где в ирисах... Помахивая перед носом племянки цветами, мертвая тетка садится на излюбленного конька-гробунка: «По улице... Ходить только по центру по улице-то! Только по центру улицы ходить!! Ни к дому какому, ни к парадному какому чужому не ходи – сожрут... Простые люди... Не принято о том... Блокада, дорога жизни... А соседочку-то мою, Валеньку, съели... Уволокли... По центру ходить, по центру улицы, посередке по одной только! Ни к какому парадному чужому не ходи, упаси Боже – к подвалу...».

– Да помогите же, помогите! – кричит дама с ирисами. – Ей плохо!..

Выйдя кое-как на поверхность, Лизавета Федоровна – глаза вниз – ежится и привычно направляется к остановке: по сторонам она смотрит лишь для того, чтобы увернуться от возможного столкновения с суетливыми «согражданами», которые, того и гляди, собьют с ног. А скользко: не хватает только переломаться – с работы выгонят, Чертила вещи проплет, квартиру спалит... «Самую крепость – в самую мякоть» – впрочем, стихов этих Лизавета Федоровна не знает и никогда не узнает: какие стихи, когда встаешь в пять утра пять дней в неделю, с одной уборки скачешь на другую, с другой – на третью, а дома – и сказать никому нельзя, что творится! Нет у нее продыха, нет и быть не может: в автобусе Лизавета Федоровна встает в относительно безопасное (людье) место и, прижавшись лбом к замерзшему стеклу, застывает – через минуту на подтаявшем узоре вырисовывается прозрачный кругляш-колобок. В детстве, помнится, они с братом (белые шапки с помпонами, красные одинаковые шарфы и варежки, расплющенные носы) прикладывали к окну трамвая пятикопеечные монетки, а потом долго на них дышали... Вот и сейчас: акварель Деда Мороза плачет, можно долго разглядывать дома, улицы, прохожих... Где теперь ее брат? Бааальшой человек, говорят, ищи-свищи!

«Граждане пассажиры, выход через заднюю дверь...» – неприятный тенорок... Так было и вчера, и позавчера, и три дня назад, когда двадцатиминутная дорога оборачивалась часовой. Снегопад – красивое «буржуйское» словечко – простому человеку ни к чему.

Лизавета Федоровна еще плотнее прижимается лбом к стеклу и зажмуривается: Лизавета Федоровна не понимает, почему они все так хотят замуж («А он?» – «А что – он? Молчит... Тянет...» – «Ну а ты?»...): ах, если б только можно было «развернуть» чертово колесо, о т к а т ь! Уж она точно не стала бы портить паспорт да лежать в уроддоме с разрывами, а потом, двадцать лет спустя, обивать пороги больниц – да еще каких больниц!

– Чертила, а что... что именно тебе говорят-то? – спросила она как-то сына, разговаривающего с г о л о с а м и, а, услышав ответ, надолго заперлась в ванной.

Надо просто заткнуть уши, уши, у ш и, только и всего: «В магазин пошла – тыщу взяла, так и не купила ниче толком...» – «Дак еще ж коммуналка вся подорожает!» – «Правдашоль?» – «Совсем задушили, сволочи!» – «Их бы на пенсию нашу! Месячок... На три тыщи-то...» – «Думка проклятая – обдумалась, как обгадилась!» – «А по ящику говорят, уровень жизни подымается» – «Не уровень жизни, а уровень жопы! Жопа у кого-то торчком торчит, выше головы! Они ж там все пидарасы, ага!» – «Ты прям знаешь, что пидарасы!» – «Не пидарасы, а сексменьшинства! Геи...» – «Ну да, чисто голубки...» – «Ты б, голубчик, заткнулся, пока я тебе в морду не дал» – «Чего сразу в морду-то?» – «Ванчо!» – «У них

мозги в жопе, га-га-га!» – «Я бы этих всех...» – «Господа, а как же социальные программы? Развитие инфраструктуры? Интернетизация? Да ведь гражданская война могла б начаться, кабы не през...» – «Ты откуда взялся, чмо в шляпе? Ты, может, сам пидар?» – «Что вы себе позволяете? Я женат, у меня двое детей! И вообще, надо быть толерантными...» – «Глянь-ка...» – «Че? Рантными? Ты че в натуре выражаешься, мудило? Быстро извинился!» – «Да я, собственно...» – «Я те щас, на х. й, такую рантность покажу, закачаешься! Ща за яйца подвешу – и все!» – «Коля, слышь, хороший, успокойся, а, Колечка? Не кипятись!» – «Рот, дура, не разевай, усвоила?» – «Ну прости, прости...» – «Е. ать тебе не перее. ать, тьфу!» – «Люди, мужчины! Да что ж это такое! Угломоните их – здесь женщины и дети! Почему они должны все это слушать?» – «А хули, пусть привыкают! Мы люди простые, че думаем – то и говорим, да, Колян?» – «Во... А то ишь: рантность: бей жидов, спасай Россию!» – «Мама, роди меня обратно!» – «Товарищ водитель, когда поедем?» – «Последнего т о в а р и щ а дерьмократы знаешь когда прибили?» – «Граждане, соблюдайте в салоне правила поведения согласно инструкции: инструкция висит у кабины водителя!» – «Какой, на х. й, инструкции, когда тут одни жида и пидарасы? Русских мужиков нормальных ваще не осталось, ля буду! Одни эти... говноеды... из телевизора!» – «Да чего ты к нему прицепился? Ну какой он пидар? Вообще на хохла похож» – «И то правда: и акцент хохляцкий... Ну-ка, скажи на своей собачьей муве...» – «Сало, небось, ломтями хавают!» – «Вот я ж и говорю: одни пидары да хохлы... Понаехали тут!» – «Уважаемые пассажиры! Просьба соблюдать спокойствие! Отправка транспортного средства по техническим причинам задерживается» – «О! Час до этого проклятого Кукуева едем, тут и ангел чертом станет!» – «И не говори... Ребят, а давайте споем!» – «Чего споем-то?» – «Тсс, тихо! Темная ночь, ты, любимая, знаю, не спишь...»

Лизавета Федоровна не спит что-то около двух лет: с тех самых пор, покуда в Чертиле не проснулись дремавшие до того гены. Сама, конечно, виновата – все боялась чего-то, все думала: «Авось образуется, парню отец нужен». Так все и разрушилось в чаду пьяном, к тому же печень: существительное – то, что существует? – «вдова» долго жгло слух... А теперь – что? Теперь, только-только сумерки, и глаза уж слипаются, руки тяжелеют, ноги затекают, а голова так и норовит «спрыгнуть» на грудь. Часто Лизавета Федоровна выходит из полузабытья только на своей – одним лишь чертом не забытой – остановке: благо, та конечная, не проспешь.

...вдрабадан явится орать начнет денег требовать а деньги откуда поди на трех работах-то шваброй помахай только б кулаки не распускал скотина чего на аборт не пошла дурында ребеночка ей подавай видите ли вот и подавись на старости лет своим ребеночком жеребеночком козленочком жизни нету да и не было ее никогда жизни чего видела видела-то чего детство считай и то украли мамашка как за отчима вышла так к бабке в деревню засунула зимой в резиновых сапожках бегала кости ломают надо говорят к ревматологу а есть разве время по ревматологам этим сама в восемнадцать выскочила чтоб от бабки-то хуже стало поди-принеси да еще все не так аборт опять же детей не хотел первый помер вторую залечили развод потом-то второй раз вроде как по любви хороший был смирный пил поначалу немного по праздникам потом каждый день а там и печень в дырках господи а денег Чертиле не дашь посуде конец а то и лбом об стенку колошматиться начнет больной больной же васильевское отродье голоса слышит шизофреник сынуля табуреткой на мать это ж надо бугай здоровый корми его сил никаких устала хоть в гроб ложись сколько ж терпеть одного алкаша схоронила другой со свету сживает как вчера на подоконник сволочь встал орет я мать щас выброшусь если денег не дашь я мать щас выброшусь гнида перед соседями не то что неудобно в глаза смотреть не моги цепочку золотую пропил телевизор пропил ковер пропил а больше и нечего холодильник не вынес тяжелый наверное развяжи руки господи хуже ада ты прости коли можешь не умею молиться не умею в церкви-то даже страшно

стоять не там ступишь бабки сразу цыкают противные вредные они как ты при себе таких держишь только а я свечку тихонечко вот поставлю да разве дойдет до тебя огонек-то ее вон их сколько поди каждому помощи всей жизни не хватит знаю умом не понять не знаю за что мучаешь так только изводишь за что меня что сделала тебе я мы же все простые люди простые люди-и-и-и...

Она ставит сумку на снег и, пошарив в кармане пальто, чиркает спичкой: неожиданно ее красивый рот кривит странная улыбка – впрочем, всего какие-то доли секунд. Лизавета Федоровна замирает от неожиданно резкой боли под лопаткой, уходящей в подреберье, и... Мечты-мечты! А ведь, кажется, умри она здесь и сейчас, исчезнут все беды: не нужно будет выходить в пять утра из дому, трястись в набитом автобусе, толкаться в метро, торопиться к семи на первую работу, чтобы махать там шваброй до десяти, тянуть время до двенадцати и ехать на вторую и, наконец, сломя голову, нестись на третью, а потом, не чуя себя, снова толкаться в метро, трястись в набитом автобусе, выискивать в магазине «что подешевле», заходить в квартиру со стойким, не выветриваемым, запахом перегара, да ждать Чертилу, у которого либо водка, либо «голоса», а то и все вместе, пес его разберет: и так каждый день, а в выходные еще хуже... доигралась-допрыгалась, лошадка, пшла, давай-ка, хоронить одно некому, так что не умничай, подумаешь, болит у нее – ишь, чего выдумала! Давай-давай... Хоть картошки ему начистишь, не жрет же, не жрет ничегошеньки!.. Иди-иди, да иди же, не стой истуканом, ну...

Оказавшись как-то «по делу» на Тверской (нотариус), Лизавета Федоровна изумилась: «Москва-то красивая какая стала, это ж надо!..» – она ведь не была в г о р о д е лет шесть, если не больше. Все ее удивляло: зазывные витрины, огни, пестрая разноголосая толпа, обилие иномарок, но главное – тот особый дух, чудом сохранившийся лишь в центре, да и то не везде. Магазины представлялись Лизавете Федоровне чуть ли не музеями (тончайшее шелковое кашне за три тысячи ввело в ступор), а в тот же «Елисеевский» она и вовсе побоялась войти, позволив себе рассматривать гастрономическое изобилие лишь сквозь стекло. Увидев же целующихся то ли мальчиков, то ли девочек – парочка сворачивала в переулок к клубу без вывески, – Лизавета Федоровна окончательно почувствовала себя не в своей тарелке, и заторопилась: ей ли «гулять», в самом деле, чего это она вздумала! Чертила, чего доброго, еще квартиру спалит... Если еще не... На улице только остаться не хватало – мало ли ей горя выпало? А эти-то, эти... Надо же... Неужто – любовь? Странно... А все лучше, чем с водкой... Да лучше б Чертила голубым – как их там называют? – уродился, прости господи... Да хоть с кошкой... А что? Только б не пил! Она бы поняла: она вообще с детства *понятливая*.

Лизавета Федоровна перешагивает через банку из-под кофе, полную окурков, откатывает ногой пустую бутылку, другую, третью, присаживается на краешек стула и, спрятав лицо в ладони, начинает раскачиваться. Она не помнит точно, сколько это продолжается, и обнаруживает свою оболочку, скрюченную в три погибели, уже на маленьком кухонном диванчике. Подглядывающий за ней чертенок находит, будто во сне Лизавета Федоровна походит на ангела, и убегает во Свояси, а там, во Своясях, кричать Лизавете Федоровне – не докричаться, стучать – не достучаться! Ни единой живой души кругом, одни мертвецы ручищи свои к ней тянут, кошмарами мучают, но самый главный, «самый страшный ужас» – кто б мог подумать? – цок-цок-перецок! – стук каблучков удаляющийся. Да разве забыть ей когда эти лакированные, с бантиком, туфельки, да разве не завывать на перроне том? – а от бабки то ли луком несет, то ли плесенью какой, а может, и всем вместе – цок-цок! – «Мамочка! Не уезжа-а-ай!» – перецок...

А там и первенец – дня не прожил: «Родить и то не можешь!» – в живот, в живот. Через год – девочка, глазки ясные, солнышко: врачи «залечили». Что ни день, Лизавета Федо-

ровна за ней в кроватку – вместо щита малышка: «На кого руку поднимаешь? На ребенка? Ирод!» – кричит. Да вот же они, пальчики сладкие, любимые! Два годика любовалась... А вот и мамочка – цок-перецок! – красивая, молодая: «Здравствуй!», а вот и муженек покойный, а вот и печень его, печень его дырявая в крови, печень его поганая, свят-свят-свят-а-а-а!..

Лизавета Федоровна просыпается от скрежета ключа. «Денехх дава-ай!» – Чертила наступает из коридора; она суетливо прячет последнюю сотенную под матрас. «Ты, сука старая, ты зачем деньги прячешь? На похороны себе собираешь? Тебе куда деньги – солить?» – и в живот, в живот.

У Лизаветы Федоровны в глазах уж красным-красно – так красно, что, кажется, онемечь Чертилу, устрани досадную помеху – и все тут же утроится, образуется: и ночами спать можно будет, шутка ли! «Не дашь, сука, денег, из окна выброшусь! Вот те крест – выброшусь! Прямо сейчас! Перед соседями неудобно, ха! Неудобно знаешь что? В ж. пу е. аться! Деньги давай, деньги, говорю, дала быстро, а то спрыгну – локти кусать будешь!»

вдрабадан явится орать начнет денег требовать а деньги откуда поди на трех работах-то шваброй помахай только б кулаки не распускал скотина чего на аборт не пошла дурында ребеночка ей подавай видите ли вот и подавись на старости лет своим ребеночком жеребеночком козленочком жизни нету да и не было ее никогда жизни чего видела видела-то чего детство считай и то украли мамашка как за отчима вышла так к бабке в деревню засунула зимой в резиновых сапожках бегала кости ломают надо говорят к ревматологу а есть разве время по ревматологам этим сама в восемнадцать выскочила чтоб от бабки-то хуже стало поди-принеси да еще все не так аборт опять же детей не хотел первый помер вторую залечили развод потом-то второй раз вроде как по любви хороший был смирный пил поначалу немного по праздникам потом каждый день а там и печень в дырках господи а денег Чертиле не дашь посуде конец а то и лбом об стенку колошматиться начнет больной больной же васильевское отродье голоса слышит шизофреник сынуля табуреткой на мать это ж надо бугай здоровый корми его сил никаких устала хоть в гроб ложись сколько ж терпеть одного алкаша схоронила другой со свету сживает как вчера на подоконник сволочь встал орет я мать сейчас выброшусь если денег не дашь я мать сейчас выброшусь гнида перед соседями не то что неудобно в глаза смотреть не моги цепочку золотую пропил телевизор пропил ковер пропил а больше и нечего холодильник не вынес тяжелый наверное развяжи руки господи хуже ада ты прости коли можешь не умею молиться не умею в церкви-то даже страшно стоять не там ступишь бабки сразу цыкают противные вредные они как ты при себе таких держишь только а я свечку тихонечко вот поставлю да разве дойдет до тебя огонек-то ее вон их сколько поди каждому помощи всей жизни не хватит знаю умом не понять не знаю за что мучаешь так только изводишь за что меня что сделала тебе я мы же все простые люди простые люди-и-и-и...

Сын стоит на подоконнике, покачивается: обычные дела, «понты». Мать подходит к нему, пытается, как обычно, успокоить, но все привычные слова вдруг в миг улетучиваются, а на душе становится на редкость покойно.

Какое-то время она рассматривает чью-то сутулую спину, покрытую шерстью, а потом легонько, почти ласково, подталкивает ту к чернильной тьме.

[идиллия]

ванванч, скрытый мизантроп и экс-профи в области дамских телес, проснувшись, повел носом: однако... И дело не в том вовсе, что супружка его, зойсанна, не хлопотала на кухне, традиционно прикудахтывая. И не в том даже, что коитусных звучков из комнаты высоколобого лысеющего отпрыска с этой его не было слышно. Нет-нет, тут гораздо, гораздо серьезней! ванванч повел носом другой раз, третий, а потом причмокнул да и растянулся с блаженной улыбкой – запах человечины исчез напрочь. Ну то есть *натурально*: полное отсутствие какого-либо амбре. Салтыков-Щедрин. Сказочки.

ванвынча, в силу энных причин к пятидесяти годкам порядком упавшего духом, такой расклад приободрил: *ведь это же счастье, счастье – ни душонки...* Приоткрыв дверь спальни, он, словно боясь спугнуть что-то, осторожно, будто вор, метнулся в длинную кишку коридора и, глубоко втянув широкими ноздрями с торчащими из них черными волосками воздух, удовлетворенно крикнул: чисто сработано.

Наскоро умывшись, ванванч надел шляпу и отправился в городок, где, к его величайшей радости, запахов потных граждан и измочаленных гражданок ничто не предвещало. Безлошадные кареты сновали туда-сюда, за прилавками стояли элегантные роботы, из репродукторов доносилось эсперанто. ванванч заходил в безлюдные кафе, где на него таращились лишь спинки плетеных кресел, в немые cinema, в бесконечно пустые – и оттого кажущиеся огромными – супермаркеты. «Fater-fater! Харашо-та ка-ак!» – думал он, пребывая в абсолютном осознании того, что так славно было ему лишь в блаженном детском неведении, когда он, иван-иваном, хотел поскорей вырасти, ибо счастья своего не ведал, не ценил. Потом подумал, что счастье как таковое не выдается напрямую: «Точно... Дозируют его... цедят...» – он сделал большой глоток темного пива: глаза заблестели от свалившейся внезапно свободы, пусть примитивной – но его, и ничьей больше.

Однако вздохнул, и глубоко: слишком поздно пришло понимание, *увыйкай* – не *увыйкай*. Пятьдесят лет присутствия в чел-овечьем зловонном футляре проросло камнями в почках, заполнило сахаром кровь. ванванч снял очки, протер фланелевой тряпочкой, купленной когда-то зойсанной, опять надел, да и посмотрел внутрь себя, где, к его изумлению, копошились самые обыкновенные черви. Подскочив от омерзения, ванванч начал судорожно раздеваться. Сначала ветер унес шарф и шляпу, затем – рубашку с брюками, потом трусы и майку, а через несколько минут тело уже бежало по трассе в одних носках. Перед глазами плыло: «Вот так, верно, умирают... А то, жуки: тоннель, свет... Врут! Какой свет – ни кондиционера тебе, ни вентилятора! А я-то, я-то... Неужто – всё? Неужто – вот так, в очочках? Неужто пощады не будет? А-а-а!...»

Он остановился перевести дух и, схватившись за сердце, придирчиво оглядел себя: обвислый бледный живот, худые конечности, сморщенное, бывшее в употреблении, навсегда поникшее «достоинство» – неужели зойсанна любила его за *это*?... Ах, зоя-зоя, змея особо ядовитая, гадюка родёмая! Всё прикудахтывала, всё свитерочки, всё щи-борщи... Уморила, сука, кровь выпила! А ведь он мечтал... Да если б только годы вернуть... В расчет, в расчет влетел... Деревня Смертинка – Мутерляндия ее, студенточки педулицшной, адская! Фрикции как плановое средство *зацепиться* за город... Городския мы, не вам, колхозникам, чета! И шубы у нас, и шпильки... Цок-цок... вот уж по паркету раскиданы... А он-то, он-то! Вань-

кой-встанькой... Щи-борщи, пеленки-распашонки, машина-дача, тоска собачья... Да лютая, лютая же! Как и любовь его лютая – такую только жизнь напролет забывать: прости, фея.

«Господи-и-и! Неужто и вправду – *КОНЕЦ*? Неужто ничего не будет больше, а? Неужто... титры?!» – но докричать ему не дали: надев на голову целлофановый пакет и туго стянув его на шее, ангелы прибили ванванча к позорному столбу, да и закидали камнями на скорые крылья: о, сколь великолепно трепыхались они в последних лучах заходящего солнца! Как нежны были!..

[прокрустовы ложки]

Твой любовник Прокруст манит тебя в кровать...
Арефьева

Ложка – узкое до страха, белое до боли, – мешало телу, которому одного только и хотелось: спрятаться, затаиться, снова (хотя б на миг!) стать эмбрионом, забыв о холоде законного пространства. Вычеркнуть ненужные, скучные, набившие оскомину имена, звуки, запахи, словечки, straponы, страны. Удалить возможность слишком резких движений. Ампутировать нескончаемость самоповторов. В общем, откалибровать монитор так, чтобы зрачкам стало удобно: и навсегда, навсегда так. И без письмишек-пасквилей: «Ну до чего скучная, наглая! – за скобками, своему психиатру. – Отвисшая от кормлений грудь, брежневские брови, опущенные, как у филиппинца, уголки губ, снулые буквы, выставленный за презенты «счёт»... и она, она предлагает мне – ЭТО! Тьфу!».

«А где чай? – вторгается Обычный в мир Франсуазы: холодный душ в обещающий быть теплым, вечер. – Не помню, – героиня текста морщит анимку, понимая, что если нос, то непременно скандал. – В самом деле? – Обычный упирает руки в бока: он и не подозревает, насколько нелеп в треклятом «здесь и сейчас». – Я работаю, – Франсуаза указывает пальчиком на словари: зрачки ее расширяются. – Разумеется, зачем помнить о чае, когда вокруг столько азбук! Французские, английские, немецкие... – загибает пальцы Обычный, потом кидает томики на пол. – Прекрати, – невольно Франсуаза переходит на свистящий шепот. – Прекрати, будет хуже. – Ты больна нарциссизмом...» – Обычный хлопает дверью, но Франсуаза от этого не легче: текст её уже перебили, срочно нужно бинтовать.

Прокруст тем временем подходит к диве, недовольно качая головой – а ложка его для дивы нехорошо: то руку судорогой сведет, то нога занемет, а то и затылок ныть начнет... Обычный же садится на излюбленного конька-гробунка: «Объясни, нет, объяснись, почему ты думаешь только о себе? Неужели так трудно сделать то, о чем тебя просят? *Просто купить чай*, Франсуаза... Неужели ты в самом деле ничего не помнишь?»

Прокруст ходит по комнате взад-вперед, вдоль-поперек, стелется по полу и потолку, по окнам и стенам: размерчик снова не тот: опять – лишнее, ненужное, не позволяющее осчастливить лежащую диву: слишком высока, длинна, раз-бро-са-на: слишком для *формы* его своеобразна: слишком всё, слишком – в футляр не спрячешь! Смеется Прокруст страшным своим смехом, тужится над очком – ан бестолку: ни мысли в голове, ни грамма в сосуде, одна птица в клетке, да и той крылья резать надо.

«...если ты веришь в то, что я стану вечно терпеть эти выходки, то ошибаешься! Я сыт, сыт, сыт по горло твоей безалаберностью! И эти грязные ложки... Что ты возомнила о себе, черт возьми?! Да ты самая обыкновенная ба-ба! Подумаешь, переводы... У людей уже дети растут, а ты?!... Кому они нужны, эти твои книжки? Бальзак, ёпт... Эгоистка!»

Прокруст чуть было не прослезился: слишком хороша оказалась дива для резки, слишком нежны у нее крылья, слишком трогательны запястья, слишком тонки лодыжки... «Дива моя, дива, что ж мне делать с тобой прикажешь? Как конструкцию изменить, как мир перевернуть, на что силушку последнюю растратить, как, о-оп-ля, ложка не опорочить?!»

А дива лежит себе, посмеивается: спокойнѐхонька – всё одно кремация, если не черви: смыслушки как не было, так и нет – уж не в производстве он вида-то, ей-же-ей! *Этой*, с отвисшей от кормлений грудью, конечно же, не понять – только и может, что бабки свои

считать: расход-приход, ни цента даром: каждый – за что-то, каждый должен с лихвой вернуться... скука: «часть долга по ипотеке, – читает в сети Франсуза, – возможно, простят молодым parents, коли в их «гнездышко» явится новокоитусный киндереныш...» – детский жилищный вычет, олэй, плодища и размножацца: тсс, тихо.

«...тебе плевать на все! Мало того, что над людьми издеваешься – так ты презираешь их! На тебя же смотреть противно, чуть в город выйдешь! Губы сожмет, лицо скривит... Тьфу! Королева без трона, ёпт... И этот «ящик»... Оставь разглагольствования о зомбировании электората тупыми сюжетами, я тебя умоляю! Переводчица, ёпт... Ты жизнью живи, реальной жизнью! Дом – муж – дети – работа... Нормальная работа, а не эта твоя... за столом пи-исьменным! Я сначала думал: ну не может, чтоб так все время... Когда-нибудь остановится. Нет: на шею села, ножки свесила... Ты что, не понимаешь – я все твои буковки нена-ви-жу?»

Прокруст встал пред ложем, и как по нотам сыграл в миф-то: голова дивы покатилась сначала в одну сторону, потом в другую, затем – в третью, превратившись на четвертой в отрубленную Горгонью: так и приковала она к себе взгляд Прокруста, так и превратила того в камень.

«Ты меня – нас! – предаешь! Ты меня – меня-а! – променяла на дело паршивое! Как ты могла, нет, объяснись, как ты могла, а? Я ведь хотел рядом быть... Днем и ночью... Мысли читать... Насквозь видеть. Детей... А ты – нет. Ты не хотела. Ни сына ни дочь не хотела: «Они будут орать и им вечно будет что-нибудь нужно». Никогда о себе не расскажешь... Всё в тайне, всё из-под полы будто... И эти твои знакомицы странные... что тебя с ними связывает? Что?.. И эти – на столе – крошки... И готовить ты не умеешь! Не любишь... Не терпишь... Неинтересно тебе всё человеческое... Чуждо... Зачем тебе жить на свете? Что ты делаешь здесь, Франсуза?»

Вернулся за полночь, позвал – но лишь щётка зубная забытая в раковину упала, лишь ложки серебряные невымытые, в классическом беспорядке по полу разбросанные, смеялись легко и непринужденно: *И Стал* – охохонюшки – *Свет*.

[я жил с ней]

Я жил с ней лет двадцать или около того. Сначала думал: игра. Только потом дошло – попал, да так, что шефу бывшему не пожелаешь. Ладно... В общем, каждый вечер одно и то же. Прихожу к ней, а она отворачивается, засыпает будто. Я по всякому – и так, и эдак: нулевой результат, ага. Говорю как-то: ну может девочку, чтоб стихи тебе перед сном читала? – до ручки дошел, буквально, а она меня *трраах* – по мордам, по мордам... «Зайка, – говорю, – ну я ж для тебя стараюсь!» – «Да пошел ты, скотина... для меня...» – и слезы по щекам, по щекам... Ага.

Раньше-то все по-другому было. Не успеешь домой прийти, она уж готовенькая стоит, под халатиком ничего: мокро под халатиком! А потом как подменили – даже запах будто другой сделался. Я-то, дурак, сначала ну спрашивать, унижаться... Стоит и в ус не дует: натурально, каменная баба, ага! «Милая, – допытывался, – за что ж ты меня так? Или тебе любовь какая особая нужна?» Молчит, локоток покусывает – и как достает только? Гибкая – страсть! Ну, размышляю, что-то тут нечисто – или свихнулась девочка моя, или подменили ее. Стал я тогда за ней подсматривать, ага. Дождусь, бывало, покуда она подумает, будто я сплю, а сам глаза до конца не закрою, и гляжу, гляжу... Ох, лучше б мне ее такой не знать!

К зеркалу, значит, подходит, кожу с себя сдирает, остается вся – истинный крест! – в мясе на костях; скальп тоже снимает, язык себе кажет, хохочет, крылья – те на пол за ненадобностью, а рожи такие корчит, что и сказать нельзя, ага! А как светать начнет, всё взад вертает, и ко мне под бок, под бок – хнычет так жалобно...

Ну, я первым делом в церковь: а куда еще?! «Помоги, батюшка, дьявола изгнать!» – а батюшка, не будь дураком: «Изгнание дьявола стоит пятьсот долларов плюс сто за визит на дом. Очередь до конца мая. По двойному тарифу можно до февраля успеть – итого, значит, тысяча двести долларов». – «Батюшка, побойся Бога, откуда ж у меня такие деньги? Работаю сторожем сутки через двое!» – «Ну и иди себе с Богом, милчеловек, сторожи...». В общем, когда он меня *Туда* послал, я сразу к Федьке, мы в школе вместе учились, он теперь психиатр, ага. Так мол и так, говорю, Федька, женщина моя в чудовище каждую ночь превращается из красавицы – жизнь, бла-бла-бла, не мила, может, полечишь? А он: «От чудовищ я, брат, не лечу. У меня одни психи», – и руками разводит, а глаза у самого гру-у-устные – не передать, ага! Ну я тогда – последняя инстанция – к бабе Шуре: она самогонкой приторговывает и в травках сечет. Так и так, бабшур, женщина моя ничего не хочет, такие ночами рожи строит, может, возьмешься? – «Не-а, – баба Шура головой мотает. – Имя у ней не нашенское. Не возьмусь ни в жисть, милок. А ты выпей – оно все легче, когда на душу примешь!» – и стакан, стакан мне под нос сует, ага.

Ну, в общем, месяц проходит, другой, третий... я уж сам чуть ума не лишился, как вдруг вижу: голуба моя в чем мать родила на балконе стоит, крылья новые примеряет: беленькие такие, чистенькие – загляденье!

– Музонька, милая, не улетай! Косая, хромая, горбатая – какая хошь будь, только останься! Я ж без тебя пропаду, сопьюсь... Ты ж мне и жена, и сестра, и любовница...

– Не канючь, мужичонка! Когда идиотские свои рассказочки царпать бросишь, тогда и поговорим, – с теми словами Муза моя взлетела в воздух, да еще успела ножкой своей меня лягнуть... – Эх, еще б у ментов поганых помощи попросил, даром что «деревенщик» немытый! – оттуда, сверху, кричит, ага...

... так она кинула меня. Так я стал как все и, не написав больше ни строчки, закончил дни свои, что неудивительно, скучно и бездарно: под кухонным столом, от разрыва аорты, в беспамятстве. Но там, где нет и не может быть белковых тел (это очень, очень хорошее

место, поверьте!), я обнаружил *контуры девочки*, напоминающие Ее. Она плакала чем могла, и я не удержался, спросил:

– Почему ты плачешь, малышка?

– Отвали, старый педофил! – ни за что ни про что огрело меня каленым ответом хрупкое создание и, скользнув с неба на землю, вошло через ноздри в мозг небезызвестного студента Литинститута ***, который никак не мог закончить дипломный цикл рассказов.

– Ахтунг! – она пригрозила ему пальцем, и студент, проснувшийся, скорее, от нестерпимого перегара, нежели от прикосновения неземной материи, скорёхонько испил полбанки рассола, стоявшего рядом, на тумбочке, и, перевернувшись на другой бок, заснул с улыбкой: сюжеты, раскрасившие яркими радугами его сон, были один одного необычней.

А я, наблюдая за достойной описания сценой, вдруг почувал, что скоро найду Ее, чего бы это ни стоило, ага... Я верил, я знал – уж теперь-то Муза не назовет меня «деревенщиком» и не оставит, не оставит...

Да разве можно издеваться над нами и после смерти?

[Nappy New Year] праздничное па

Катенька – когда-то ведь и так ее называли – подумала: заройся она сейчас лицом в снег, всё будет лучше. Суетливая предновогодняя толпа, осаждающая магазины (вполне серьезная, деловито-напыщенная озабоченность ингредиентами для оливье и проч.), казалось, пройдет по ней, еще живой, и даже не заметит, как растопчет. Ей, предновогодней толпе, явно нет до нее никакого дела – да и кому до нее, собственно, дело? ДЕЛО №... – мелькнуло ни с того ни с сего перед глазами, которыми Катенька и хотела бы заплакать, да не могла. «Ну что же, что же это такое, что я с собой творю? – молча кричала она, обходя людей, наверняка знающих, *что это такое*. – Как докатилась? Как могла? Почему? Господи, какая же я дура, дура, дура – нет, хуже... хуже дуры... во сто крат...»

Ей, бедняге, действительно не понарошку было так плохо, так плохо, что и сказать никому нельзя: да и кому 31 декабря скажешь «так плохо, так плохо...»? Вот она и не говорила, держа при себе раскаленную добела боль, разъедающую изнутри все то, к чему хорошо бы не прикасаться. Гидравлический пресс отчаяния, который вот-вот – и опустится по самое «не могу», и придавит, и расплющит окончательно, оставив от Катеньки одно лишь мокрое место, больше ничего... – а, впрочем, к чему метафоры, если жизнь не мила! «Что ж мне делать, что-о? Эй, кто-нибудь! Гос-по-ди... Да я же превратилась в кусок мяса, просто в кусок мяса... меня же живьем будто варят... гос-по-ди...»

С такими вот мыслями Катенька сворачивала с улицы на улицу под не слышные никому аплодисменты распоротого равновесия, сыгравшего с ней как по нотам злую свою шутку. «Как все глупо... Глупо, банально... Глухо... И ведь выхода-то нет, выхода-то я никакого не вижу, кроме как...» *И никто не услышит, ой-ё*, – раздалось из проехавшей в направлении Кузнецкого машины, и аккуратно на распеве чайфовского «Ё» Катенька наконец-то заплакала.

В минус четыре слезы, в общем-то, не имеют обыкновения замерзать, поэтому говорить хорошим литературным языком о застывших соленых льдинках неуместно. «А *что, что* – уместно?» – будто слышала нас Катенька, но никто, конечно же, ей не ответил. Увы, с каждым приключаются порой некие ситуации, описать кои, стрельнув «в яблочко», можно лишь с помощью обценной лексики. Не замечали ль вы, к примеру, как одно лишь матерное слово может вывести из ступора иного упрямяца, которому битый час пытаются доказать очевидное? Однако после «Ёб твою мать!» он вдруг понимает вас и даже смотрит осмысленно, будто прямо сейчас ему доказали сложнейшую теорему. Однако вся беда в том, что Катеньке в канун Нового года – увы-увы! – некому было напомнить таким вот образом о матушке. Заснеженная столица, вся в огнях, снисходительно поглядывала на нее: уж она-то, Москва, слез повидала немало – стоит ли всем-то верить? Печальный опыт подсказывал обратное, а одно и то же кино – с небольшими вариациями – повторялось с периодичностью смен времен года: Москва тосковала, ей уж самой хотелось плакать – в общем, Москву было не узнать. Однако Катенька чем-то тронула ее сердце, давным-давно – столько не живут! – выработавшее иммунитет к людям и бездомным животным (хотя вторых, положила руку на звездочку, жаль больше первых, да-да, чистая неразбавленная правда!). «Новый год все-таки... – размышляла Москва. – Пусть и иллюзия, но великая... Совсем с ума сошла, лица нет... Убивается, будто кто-то умер! Что ж делать-то?»

Москва не знала, отчего Катеньке так плохо, но знала про обценную лексику всю правду-матку: оной-то резать и решила.

– Милка, помоги, упала я... – услышала Катенька, методично перебивавшая тем временем способы самоубийства и отвергавшая оные один за другим, а, обернувшись, увидела растянувшуюся посреди дороги бабку. – Сама не дойду...

Бабка оказалась тяжелой: уже навалившись на Катеньку всем весом, покряхтывая, она вспоминала канувшие в Лету времена, когда жетон на метро стоил пятак. И вдруг за всеми этими дурацкими словами Катенька почуяла: бабка только для отвода глаз разглагольствует, а на самом деле знает то, что ей, Катеньке, узнать надо позарез – здесь и сейчас; в общем, мистика, да и только.

– А вот вы... вы... когда-нибудь любили? – выпалила Катенька и, испугавшись бестактности, осеклась.

– Любила, – ответила бабка как ни в чем не бывало, и снег повалил вдруг огромными хлопьями, и Катенька в какой-то момент радостно в них от боли своей спряталась. Но самое странное то, что улица Рождественка, по которой они с бабкой шли, видоизменилась до неузнаваемости – да и Рождественка ли это была, полноте? Нет-нет, какой-то другой город, другой мир... И Катенька – в другом городе или другом мире – сам слух, и то, о чем ей говорят, навсегда откладывается в выдвижные ящички памяти, и наставительное «Ёб твою мать» – тоже.

А потом снова всплывает Москва – настоящая, лихая, гулкая – и Катенька к Кузнецкому бежмя бежит, потому как Гарри New Year на носу, а там, дома, ее – ждет? не ждет? – такой же бледнолицый двуногий, которого любит она до потери пульса и до такой же потери пульса не понимает. Слезы застилают глаза, дыхание учащается: *быть проще* безумно сложно.

– Пойми, – умоляет Катенька, а бледнолицый двуногий курит не переставая, и куранты бьют, и телевизор бьет, и праздник бьет, бьет, бьет по лицу наотмашь: мандарины и елка – неудачное плацебо больных на голову взрослых детей.

«...Маруся отравилась... Мужчина как фаллоимитатор... И никто не услышит... ой-ё! ...Мама не пошла на аборт... А вы любили?... Ой-ё!...» – бредит Катенька, обнимая унитаз: новогодняя сказка бодро и весело ухает в его белую пасть.

[разрешите вами восхищаться!]

Наталья Дмитриевна – интересная дама лет сорока – вздыхала, прогуливаясь по саду: корсет сегодня оказался чересчур туг. Солнечные зайцы, нагло соскакивавшие с кружевного зонтика на ее полные белые плечи, ничуть не смущались и уже прыгали в декольте: а уж там-то было раздолье!

О том же самом раздолье думал и гость ее мужа – поручик N, прогуливавшийся неподалеку. Наталья Дмитриевна нравилась ему давно. Впрочем, «нравилась» – едва ли то слово, способное обрисовать его чувства-с. Он желал ее так сильно, что лоб все чаще покрывался испариной, а ладони потели. И вот поручик, наконец, осмелился приблизиться к даме своего сердца на непочтительно близкое расстояние и, приветствуя, произнес:

– Разрешите вами восхищаться!

– Ах! – сказала Наталья Дмитриевна: да и что можно сказать, когда красавец-поручик подходит к тебе со спины?

– Разрешите вами восхищаться! – снова пробасил поручик, и Наталья Дмитриевна покраснела да выкинула на всякий случай солнечных зайцев из декольте. Поручик, заметив сей красноречивый жест, придвинулся к даме своего сердца еще ближе и снова пробасил: – Разрешите вами восхищаться!

– Ах! – опять сказала Наталья Дмитриевна и коснулась груди. – Колет-с! Сердце!

– Сердце? Где-с? Натальдмитна, позвольте, где-с колит-с? – поручик почти дотронулся до ее груди, а Наталья Дмитриевна снова: – Ах!

– Что «Ах» – с? Что «Ах» – с, милая Натальдмитна? Вы позволите помочь вам? – поручик казался встревоженным.

– Ах, оставьте! – покачала головой Наталья Дмитриевна. – Никто не сможет помочь мне. Никто не сможет вылечить мое сердце...

– Но почему, милая Натальдмитна? – поручик взял ее руку в свою и поцеловал.

– Ах! – вскрикнула Наталья Дмитриевна и, как показалось поручику, упала без чувств.

– Натальдмитна, натальдмитна! Что с вами? Я обидел вас? Помилуйте, голубушка, и в мыслях не...

– Ну давайте же, давайте скорей, пока супруг по делам выехали-с, не томите, я вся ваша... Ах...

Платье Натальи Дмитриевны принесло поручику немало хлопот, не говоря уж о корсете. Однако всё было исполнено в лучшем виде, и полные плечи Натальи Дмитриевны уже слегка утомленно поднимались и опускались. Поручик, запутавшийся в подвязках, отряхивался от травы.

– Разрешите вами восхищаться! – пробасил он и, превратившись с теми словами в солнечного зайца, навсегда поселился в ее шикарном декольте.

Небо, говорят, было все еще голубым, а трава – зеленой: именно в ту пору и прогуливалась Наталья Дмитриевна по саду своего имения. Ничто не предвещало ей удовольствия, как вдруг...

– Разрешите вами восхищаться! – услышала она голос гувернера своей дочери и, небрежно поплыв ему навстречу, снова подумала, что если б в ее жизни не было этого маленького порока, она с ума сошла бы от скуки: право, нельзя же целыми днями пить кофий, завивать волосы да тренькать на фортепьянах!

– Ах! – только и сказала Наталья Дмитриевна и, прислонясь к толстому стволу клена, оголила щиколотки, а потом и колени: тонкие ажурные чулки пахли лавандой.

Гувернер без лишних слов освободил даму от ненужного шелка и исполнил все в лучшем виде. Через полчаса полные плечи Натальи Дмитриевны уже утомленно поднимались и опускались. Гувернер, запутавшийся в подвязках, отряхивался от травы.

– Разрешите вами восхищаться! – пробасил он и, превратившись с теми словами в солнечного зайца, навсегда поселился в ее шикарном декольте.

...Моросит дождь. Наталья Дмитриевна прогуливается по алее парка: жизнь кажется ей никчемной (что дальше? старость?). Пора выдавать дочь замуж, пора намекать мужу на завещание – он старше ее на двадцать пять и последнее время не выходит из дому. Ей скучно, очень скучно...

«Разрешите вами восхищаться!» – слышит она вдруг, и почти уже бежит на зов, но, споткнувшись о пару десятков солнечных зайцев, выскочивших внезапно из ее шикарного декольте, падает в грязную лужу: так брызжат слезы из глаз Натальи Дмитриевны, так смывает ливень пудру...

«Ах!» – слышит Наталья Дмитриевна, открывающая дверь дома, вздох дочери и чьи-то быстрые удаляющиеся шаги. Она бежит на их звук, чтобы уличить гувернера, но увидев Глашку – новую горничную, кровь с молоком! – застывает.

– Стареете, маминька! – облизывает дочь пухлые губы. – Прогресс идет вперед-с!

...Наталья Дмитриевна прикусывает язык и, ничего не говоря, тяжело поднимается по лестнице к себе в комнаты. Единственное, о чем она жалеет...

«Т-с-с! Право, мне неловко, – соскакивает Наталья Дмитриевна со страницы, забыв о дозволенном. – Не стоит этого говорить! Нельзя-с поступать с персонажами столь безжалостно, умоляю!»

...и мы внемлем. Мы никогда больше не говорим о Наталье Дмитриевне; Глашка же, высунувшая на миг носик в коридор, тихо-тихо прикрывает дверь в ее комнаты.

занавес

[Ledi Ferrum рук Пушкина]

растравочка

«Когда Бог создал время, Он создал его достаточно» – то сказки, сказки матушки Ады, но что с них – Гере? (ту-дук, ту-дук: поезд? сердце?). «Когда вода подходит к горлу, выше голову»: зачитанный томик Леца, впрочем, ту не спасет, а по сему [*«Однажды стало быть появится история каждого от самого его начала до конца»²*] – (ту-дук, ту-дук, а вот и не угадаешь!); ну то есть от этой вот самой уродбольнички до того, аккурат – во-он! – кладбищка, и далее по тексту: «Ты купишь мне туфельки, мама?..» – «Вырррастешь – и купишь! Выррр...» – «Хотя б одну-у...» – слёзищи градом – [*«Однажды стало быть непременно появится история каждого кто жил или живет или будет жить»*] – (ту-дук, ту-дук: поезд) – вот и пшла стори, и пшла, и пшла, и пшла себе: «Вон пшла, камугрю!» – «Одну лишь ту-у-фельку, одну туф...» – (ту-дук, ту-дук: не бзди паголёнком³, – сердце).

стравочка

Солнечным весенним утром – так *они*, случается, зачинают, – Гера облокотилась не на ту руку и, приподняв вверх первую – казалось, будто та жмет, – принялась ее изучать. Нельзя сказать, будто увиденное привело в восторг, нет-нет... да и кого приведет *в восторг* с неба свалившаяся – буквально, – из разнокалиберных пластин скрученная, змейка? Змейка, распластавшаяся на тебе от плеча, на минуточку, до запястья?.. И ведь вчера – еще вчера, заметьте, – никто, даже вумненький Вордочист, не имел о ней ни малейшего представления! Сковырнуть – пищи-считай, свергнуть – с заштатного трончика Эпидермисов комплекс, привизуализировавшийся накушавшемуся опиума доктору, не было никакой возможности. Более того – если Гере и удалось неосознанно «перебрать» *assemblage point*⁴, обнулившись «заочно» на некоем витке знамо какой спирали⁵ (назовем ту для облегчения восприятия *ложкой с медом*), то пешечки быстренько среваншировали. Отбивая многоуважаемый мозг синкопированной морзянкой (*koshmarnaya bol'*, транслит, *mi bolshe etogo ne vinesem*, о-о!), «земная соль» – *бочка с дегтем*, – методично, со знанием дела, стучала за всю популяцию, и Серому кардиналу ничегошеньки-то не оставалось, как отдалять еретические мысли особы, черепную коробку которой он по приказу г-жи Анимы арендовал, от непрестанно лучащегося на «коконе» объекта⁶...

Вторая рука Геры также *прорастала*. Чешуйки, пластинки, змейки... сначала на руках, далее везде – все не как у людей, которых Гера, впрочем, едва ль где-либо (а уж в рідной Варфолоіопповке и подавно) встречала. Быть может, именно потому *они* ничего и не замечали, ну то есть натурально, никакого феррума, – кроме того, разве, что Гера ах-с как похорошела. Compliments, отскакивающие от стен цирюльни, будто чудо-горошины, которые и «закладывают» принцесс, дабы скотный двор мог удостовериться, не приведи Б-г, в неполноценности последних, вызывали у Геры недоумение, смешанное с брезгливостью. Логорейные власо- и брадобрейки, жужжащие о том, какой крем пробуждает на щеках коллеги-счастливицы дивный, «не по годам», румянец, etc., походили на мух даже больше, нежели сами

² [Зд. и далее в квадратных скобках]: Г. Стайн, «Лекции в Америке» (орфография и пунктуация Г.С.).

³ Не ври.

⁴ Пресловутая «точка сборки», описанная Кастанедой и К*, смещение которой меняет т. н. взгляд на мир.

⁵ Энергетическая спираль, появляющейся в момент распада телесной формы.

⁶ Речь идет, опять же, о сдвигании «точки сборки» – светящейся точки, находящейся на т. н. энергетическом коконе человека.

мухи, и Гере ничегошеньки-то не оставалось, как мыть мысли свои тридцать три раза на дню, дабы очиститься от вербальной мозг заразы.

Каждое пробуждение, меж тем, означало новую аппликацию: назовем сей бени-пет⁷ так. «О, донна Роза!» – хваталась за голову Гера, не совсем, что и молчать, осознававшая смысл происходящего таинства. Все-все, повторимся, отмечали «особый блеск» ее глаз, ну а те, кто внимательней, еще и «удивительный», «необычайный» цвет дермы. Походка также была охвачена-с: шаг Геры, словно б сузившись, стал более стремительным и легким. Даже тембр голоса изменился – и все б ничего, кабы не тесная – жмет, как на духу! – змейка... Куда ж с феррумом этим – Здесь и Теперь? Горгона Горгоной!..

Но даже горгоны иногда молятся, уж об обнулении-то воспоминаний – *и избави мя от многих и лютых* – всяко: превеселых картинок такого рода было у Геры не счесть, и все, как на подбор, чудо как хороши: из соображений гуманности опустим концы их в воду. [*«Это очень похоже на прыгающую лягушку она никогда не сможет раз за разом прыгать на одно и то же расстояние одним и тем же способом»*] – слышит Гера, топящая детали, скрип древа жизни, и понимает, что домолилась. В том, что мычания такого рода слышны, где надо, сомневаются одни лишь бедненькие, а потому темочку закрываем. Насчет же того, коим образом запечный речитатив сей воплощается в ту самую, *в ощущениях данную, ре...* «Чур!.. – вумненький Вордочист против: смотрите-ка, уж машет руками... – Чур меня!..» – а проще так: wantушки⁸ Геры ставились на поток, что называется, в извращенной форме: каждую болезненную картинку из прошлого ввинчивали в тело ее вместе с соляным шариком, отвечающим, – а было оных не счесть, – за конкретную драмку: и вся премудрость... Что ж, все б ничего, кабы не выстроились страдания-то в рядок: моли Яво, не моли – без вариантов! Но – упс! Вумненький Вордочист прерывает нас следующим пассажем: «Каждой боли соответствует “занебеснутая зарубка”, отражающаяся в “заземленной” железной пластине: последняя и обесточивает приступы страха, отключая ужас 3D-опции “Воспоминание”» – [*«Любая вещь это две вещи... Любая вещь это две вещи»*] – укрывается деревянным щитом скобок Stien. Одним словом, – если совсем упростить, – стоило коже «разжиться» железкой, как прикрепленная к ней мысль теряла над Герой власть: сказочная, сказочная невесомость, – а какая легкая голова!.. Нет-нет, это ни капельки не пугало – скорее, наоборот: да как же вышло, сокрушалась Гера, что я раньше т а к и м и-то пробавлялась мыслишками? Уж лучше я вся, с головы до пят – пусть, пусть! – покроюсь чешуйками, чем буду с ума по живущим лишь в мыслях кошмарам сходить!.. Сыта по гланды, delete, итожит, игнорируя кавычки, вумненький Вордочист и, выметая сор со страницы, показывает своему психиатру stein'овый лист: [*«Интересно, действительно ли вы понимаете что я имею в виду»*]?

расправочка

Ан нет, не бывает, чтоб совсем-то уж гладко. *Так закалялась сталь, но зачем?* – именно этот вопрос задал когда-то Гере «немец» Павел Иванович, роман с которым спровоцировал в крови ее брожение навроде Sturm und Drang'a⁹, ну а сейчас... чешуйка за чешуйкой, пластинка за пластинкой вспыхивали то тут там, заставляя кожу мерцать. О-лэй!.. Но даже чешуйки, пускай и превратившиеся в щит, в шлем, в латы, чувствуют то, что зовется зовом плоти, и Гера – почти железная, – поняла: *попала*.

Он – далее М. – был похож на Павла Ивановича: во-первых, близорук. Во-вторых, обо-жал Вермеера. В-третьих – в том, впрочем, героиня наша, как и вумненький Вордочист, были не так чтоб уверены, – абажал Геру. Поначалу М. являлся в цирюльню раз в две недели, но

⁷ «Небесное», или метеоритное, железо (*древнеегипт.*).

⁸ Т.н. «желания».

⁹ «Буря и натиск» (*нем.*)

вскорости зачастил, сократив интервал между приходами дней до шести. Когда же записываться на стрижку по причине отсутствия «лишних» волос стало совсем уж смешно, герой наш наконец-то откашлялся, да и предложил героине *пройтись* – «тут, недалеко».

Попытки *касания* повисли сначала в воздухе, вызвав сопротивление Геры, хотя ее и влекло – привет, *gesamt kunst werk*¹⁰, ну привет, – очень влекло к М.: еще бы, он ведь казался *последним необнулённым воспоминанием*! Но было Железо, и Железо было плотью, и Железом была плоть, а потому – жало в плечах: выносить чужую, пусть и желанную, кожу, не было никакого терпения. Я железная, я могу все, стискивала Гера зубы, все что угодно... – Но если ты можешь все что угодно, пел М., значит, можешь влезть и в прежнюю шкурку... зачем нужна новая? Зачем тебе ее родословная? Зачем вести отсчет дней своих от момента падения металла небесного на Землю? И как насчет фактурной совместимости матерьяloff? – [ту-дук, ту-дук] – ах, как стучит сердце!.. Да даже если оно и не было никогда железным, если лишь *теперь* – стало, то что же ей, Гере, делать? Стань мягкой, шепчет М., стань, чего тебе стоит... – Только лишь растечешься, растаешь, поверишь на слово, как тут же крышка, качает головой Гера. – Откуда ты знаешь, горячится М., да откуда ты можешь знать-то?..

Откуда может!.. О, жар, жар, нестерпимый жар, сравнимый лишь с жаром первого поцелуя – лето, развалины графской усадьбы, – когда б поцелуй тот и впрямь ставили в шехтелевских декорациях, а не «монтировали» в ледяном павильоне, где отголоски снулого февральского вечера имитируют чувственность... А ежели без лирики: в цирюльню Гера наутро не пошла – не пошла и в больничку для имитации острого респираторного: зевнула, едва представив серо-коричневую толпу, и, перевернувшись, уткнулась в спину М. И впрямь: почему не растечься? Кто вынуждает ее изо дня в день носить на себе чертовы железяки? Зачем обороняться, если никто на тебя не нападает? К чему защищаться от Мастера?..

Скоро, совсем скоро у Геры появится доппельгангер: не из дешевых, уточняет наш Вордочист, удовольствие, не всем по карману... Но до кармана ль, когда на кону целая, как кажется, жизнь? В общем, в ту ночь Гера сорвала с себя все чешуйки: она и не заметила, что стала ростом чуть больше дюйма.

Сначала из глины, затем из воска... офтальмологические протезы, заказанные в спецклинике... Волоски, один за другим – и так несколько тысяч, – вплавленные в восковой череп «железной леди»... Корректировка морщинок и пор... Когда же с этими и прочими чудесами было кончено, Мастер – «Ну-ка, куколка... – Умри, грязный садик!..» – подцепил кроху пинцетом и закрепил в свежеотлитой женской головке. Фигура экс-премьер-министра, как впишут позднее в Живую Жижу, «имела ультрамегасуперуспех» у публички-дуры, что, впрочем, не помешало Мастеру убраться аккуратно после выставки: по словам реанимационной сестрицы, покойный повторял непрерывно, – *вот я и запомнила*, – одно лишь «В ушную раковину Бога шепни всего четыре слога: “Прости меня”»¹¹, – мадам искренне верила, будто и это, и это тоже дело рук Пушкина.

¹⁰ Тире, «мыслительная черточка» (нем.)

¹¹ Бродский.

[Снег на даче] *этюд между пальцами для левой руки*

– Мне нужна твоя любовь! – пробаритонил многозначительно Очередной-С-Претензией-На-Интеллект.

Меня как током ударило, и, чтобы не сказать что-нибудь обидное, я набрала в легкие побольше воздуха, досчитав до одиннадцати.

– Мне, – он акцентировал, – нужна твоя... – я прикрыла ему рот ладонью:

– Давай чай пить. Остынет.

Очередной-С-Претензией-На-Интеллект сел напротив, и посмотрел какбывлюбленными глазами то ли в мое лицо, то ли в стоящую на возвышении тарелку с песочным печеньем – «в», а не «на», и это был просто предлог.

– Восхитительно! – пробаритонил, и я снова не уловила, к кому-чему именно относится восклицание.

Он долго дул в чашку, потом основательно намазывал масло на то самое лакомство и еще дольше поглощал его.

– Изумительно! – прожевал, наконец. – А молока нет?

– Нет.

Он почесал затылок и прошел в ванную. Я, зевая, пилила ногти, слыша, как фырчит вода, и как кто-то фырчит в унисон.

Очередной-С-Претензией-На-Интеллект вышел в моем халате и попытался; я увернулась, отмазываясь накрашенными ногтями. Впрочем, он не казался расстроенным, даже наоборот:

– Молока нет?

– Нет, не пью я его.

...Он долго одевался, брился, целовал мне руки, говорил пафосно и какбыискренне. Однако третий вопрос о молоке поверг меня в уныние:

– Нет. Ты уже спрашивал. Забыл?

– Забыл... – топчется в прихожей, смеется чему-то. – Так я поеду?

– Так поезжай.

– Я обязательно скоро появлюсь! – будто успокаивает себя.

– Появляйся, – пожимаю плечами, отходя от входной двери.

– Не скучай! – грозит пальцем.

«И не подумаю», – не говорю, усиленно улыбаясь: кажется, в эту секунду я похожа на девушку из клипа «Жизнерадостные кретины».

Очередной-С-Претензией-На-Интеллект наконец-то уходит.

Выдыхаю.

Мне почти легко, и я с банальным удовольствием отмываю от чего-то невидимого чашки, а потом закидываю все полотенца и постельное белье в стиральную машину; но желание прокипятить собственные мозги еще не проходит.

Нет, не проходит.

Еду в гости.

В гостях много гостей, еды и вина. Стою на балконе с «нормальными» своего пола, пытаюсь не сказать чего-нибудь непонятного. Разговор «о кофточках» вполне безобиден. Потом все уходят есть курицу, еще не снятую с бутылки, и мы остаемся вдвоем с давней знакомой: «Полька, смотри, упустишь – тебе же хуже!» – смеется она.

Смеется она!

– Ага, – соглашаюсь, и тушу ополовиненную сигарету. – Курицы не останется, пошли.

...Пью какое-то красное. И, чем больше, тем легче даются мне вечные, неистребимые огнем и мечом «кофточки». Развязывается язык: меня с интересом слушают – я даже выдавливаю поланекдота: «Скупой платит дважды. Пойду работать к скупому». Становится смешно, жарко, вместо курицы появляются кости; в этот вечер я не пью снотворное.

Утро, похожее на утро.

Рассматриваю – в зеркале, чужой-не-заметит – седые ниточки, подлизываюсь к лицу и шее кремом: в этом возрасте – «Что-что?» – советуют не забывать про шею, и я не забываю: для гильотины хороша больно!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.